

ВИКТОР ПЕЛЕВИН

ВИКТОР ПЕЛЕВИН

АНАНАСНАЯ ВОДА
ДЛЯ ПРЕКРАСНОЙ ДАМЫ



Москва
2024

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
П24

Художественное оформление серии *Луизы Бакировой*

Иллюстрация в марке серии:

© leleven / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com

Пелевин, Виктор Олегович.
П24 Ананасная вода для прекрасной дамы / Виктор Пелевин. — Москва : Эксмо, 2024. — 320 с.

ISBN 978-5-04-199609-3

«Война и Мир» эпохи, в которую нет «ни мира, ни войны».

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Пелевин В., 2016
© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2024

ISBN 978-5-04-199609-3

Часть I
БОГИ И МЕХАНИЗМЫ

Автор не обязательно разделяет религиозные, метафизические, политические, эстетические, национальные, фармакологические и прочие оценки и мнения, высказываемые персонажами книги, ее лирическими героями и фигурами рассказчиков.

ОПЕРАЦИЯ «BURNING BUSH»¹

I'm the little jew who wrote the Bible ².

Leonard Cohen

Чтобы вы знали, меня зовут Семен Левитан. Я родился и вырос в Одессе, на пятой станции Большого Фонтана. Мы жили совсем рядом с морем, в сталинской квартире конца тридцатых годов, доставшейся моей семье из-за минутной и не вполне искренней близости к режиму. Это было просторное и светлое жилище, но в его просторе и свете отчетливо присутствовал невыразимый советский ужас, пропитавший все постройки той поры.

Однако мое детство было счастливым. Вода в море была чистой (хотя тогда ее называли грязной), трамваи ходили без перерывов, и никто в городе не знал, что вместо английского языка детям надо учить украинский — поэтому отдали меня в английскую спецшколу. По странному совпадению, в ее вестибюле висела репродукция картины «Над вечным покоем» кисти одного из моих великих однофамильцев — Исаака Левитана.

Я не имею отношения к этому художнику. Зато, если верить родителям, я отдаленный родственник знаменитого советского радиодиктора Юрия Левитана, который в сороковые годы озвучивал по радио сводки информбюро. Очень может быть, что именно

¹ Операция «Горящий куст».

² Я маленький еврей, написавший Библию.

гены подарили мне сильный и красивый голос «таинственного серебристо-ночного тембра», как выразилась школьная учительница музыки, безуспешно учившая меня петь.

Документальных свидетельств родства я не видел — никаких архивов у нас не сохранилось. Но семейное предание заставило маму купить целый ящик записей Левитана на гибких пластинках, сделанных из старых рентгенограмм. Подозреваю, что эта же сень отраженного величия заразила папу-преферансиста поговоркой «я таки не играю, а счет веду».

Слушая размеренный, как бы неторопливо ликующий голос Левитана, я с детства изумлялся его силе и учился подражать ей. Я запоминал наизусть целые военные сводки и получал странное, почти демоническое удовольствие от того, что становился на несколько минут рупором сражающейся империи. Постепенно я овладел интонационными ухищрениями советского диктора, и иногда мне начинало казаться, что я настоящий ученик чародея — мой неокрепший голос вдруг взрывался раскатом громоподобных слов, словно бы подкрепленных всей танковой мощью центральной Азии.

Родителей весьма впечатлял мой имитационный талант. С другими людьми обстояло чуть сложнее.

Дело в том, что моим родным языком был не столько русский, сколько одесский. И мама, и отец говорили на уже практически вымершем русифицированном идише, который так бездарно изображают все рассказчики еврейских анекдотов. Я, можно сказать, и вырос внутри бородатого и не слишком смешного анекдота, где фраза «сколько стоит эта рыба» звучала как «скильки коштуе цей фиш».

Этот специфический одесский parlance впитался в мои голосовые связки настолько глубоко, что все позднейшие попытки преодолеть его оказались безуспешными (забегая вперед, скажу, что густая тень идиша легла не только на мой русский, но и на мой английский). Поэтому, хоть изображаемый мной Левитан звучал совершенно естественно для моих родителей, приезжих из Ма-а-асквы он смешил до колик. Мне же их тягучий как сгущенка северный выговор казался до невозможности деревенским.

Летом меня отправляли в странный пионерлагерь, расположенный совсем рядом с домом — он помещался в здании интерната для глухонемых, которых на лето, надо думать, вывозили на север. В палате пионерлагеря я развлекал более сильных и наглых ребят своим небольшим даром.

Надо сказать, что я был слабосильным мальчиком. Сперва родители надеялись, что мой рост и сила лишь временно зависли на какой-то небесной таможне, и я еще наверстаю свое. Но к шестому примерно классу стало окончательно ясно, что папа создал не Голиафа, а очередного Давида.

Мудрый Фрейд не зря говорил, что анатомия — это судьба. Мой имитационный талант оказался единственным противовесом жестокому приговору природы. Но все-таки противовес существовал, и гопники с гегемонами били меня не слишком часто — я умел их развлечь.

Сперва я просто читал заученные наизусть военные сводки, пестрящие дикими географизмами — в темной палате они звучали непобедимыми азиатскими заклинаниями. Но постепенно это наскучило моим слушателям, и я начал импровизировать. И вот

здесь выяснились удивительные особенности моей магической речи.

Любая из страшных историй, которые дети рассказывают друг другу в темноте, приобретала в моем исполнении иное качество — и пугала даже тех, кто обычно смеялся над страшилками. Мало того, самые простые слова, обращенные к моим товарищам по палате в темный час после отбоя, вдруг наполнялись жутким многозначительным смыслом, стоило мне произнести их голосом Левитана.

Любой этнограф, знакомый с особенностями евразийского детства, знает, что в подростковой среде соблюдаются строгие социальные протоколы, нарушение которых чревато такими же последствиями, как неуважение к тюремным табу. Но моя волшебная сила ставила меня выше подобных правил. В минуты имперсонаций я мог, как тогда выражались, «бакланить» без всяких последствий, говоря что угодно кому угодно — и с этим смирялись, как бы почитая сошедшего на меня духа. Разумеется, я не ставил подобных экспериментов в своем обычном художничьем качестве, когда в палате становилось светло.

Была, впрочем, одна досадная проблема — о ней я уже упоминал. Некоторые ребята обладали иммунитетом к моей магии. Мало того, я их смешил. Обычно это были москвичи, занесенные к нам потоками арктического воздуха.

Причина была в моем одесском выговоре — он казался им смешным и не совместимым с грозным смыслом произносимых слов. В такие минуты я ощущал нечто похожее на трагедию поэта, которому легкая картавость мешает обольстить свет чарами вполне гениальных строк. Но москвичей среди моих

слушателей было мало, и некоторые из них таки падали под ударами темных крыл моего демона, так что по этому вопросу я переживал не особо.

С одним из москвичей я даже подружился. Его звали Влад Шмыга. Это был толстый мрачный парень с очень внимательными глазами и вечно потным ежиком. Мне льстило, что он был одним из тех северян, кто не смеялся над моим выговором, а его, несомненно, впечатлял мой талант.

В нем было что-то военно-детдомовское — только его хотелось назвать не сыном полка, а сыном заградотряда. Его любимым эпитетом было слово «убогий», применявшееся ко всему, от погоды до кинематографа. Кроме того, у него было необычное хобби.

Он вел досье на каждого мальчика из нашей палаты — в общей тетради, которую хранил в мешке с грязным бельем под защитой нескольких особо пахучих носков. Мне он ее доверительно показал, когда мы курили сырые ростовские сигареты в кустах возле столовой. Про меня там было написано следующее:

Семен Левитан.

Обладает умением говорить голосом загробного мира, отчего ночью делается страшно. Может не только напугать до усрачки, но и утешить и вдохновить. Таким образом, имеет уникальную способность, близкую к гипнозу. Способен выражаться красиво и заумно, так что кажешься себе некультурным дураком, но, когда забывается, начинает говорить быстро и с сильным еврейским акцентом. Тогда гипноз пропадает.

Я, конечно, и сам про себя все это знал — только формулировал чуть иначе. Однако я был знаком с

собой вот уже двенадцать лет, а Владик выделил из меня эту смысловую суть всего за несколько дней. Мало того, за этот короткий срок он успел проделать то же самое и с остальными соседями по палате, и это, конечно, впечатляло. Наверное, именно тогда я впервые понял, что кроме меня в мире есть много других специфически одаренных людей, и гордиться своим даром следует очень осторожно.

Мы с Владиком переписывались пару месяцев после лагеря, потом он хотел опять приехать в Одессу, но не смог — и постепенно наша дружба сошла на нет. Думаю, последнее письмо написал все-таки я, но не уверен.

После школы меня отправили учиться в московский институт Иностранных языков. Мама долго не хотела отпускать меня, ссылаясь на корни, без которых я увяну, но папа, как опытный преферансист, обыграл ее, хитро передернув козырную цитату из Бродского (тот был для мамы высшим авторитетом). Он сказал так:

— Если выпало в империи родиться, надо жить в глухой провинции у моря. Ну а если выпало родиться в глухой провинции у моря? Значит, Семену так надо жить в империи!

Но империя в это время уже дышала на ладан, а пока я учился в инязе, и вовсе перестала это делать, после чего римские циклы Бродского потеряли одну из главных эстетических проекций, а мои карьерно-выездные надежды — так и вообще всякий смысл.

Об ужасе девяностых я умолчу. Скажу только, что за российский паспорт с меня содрали непорядочно много денег — это была явная несправедливость даже по тем беспредельным временам. Правда, английскому в Москве я научился весьма сносно.

В один прекрасный день на заре нового миллениума я увидел в зеркале некрасиво лысеющего худого мужчину, которого уже довольно трудно было назвать «молодым человеком». Этот потасканный низкооплачиваемый субъект жил в съемной хрущобе у метро «Авиамоторная» и преподавал английский на расположенных у Павелецкого вокзала курсах «Intermediate Advanced», куда ходили технические абитуриенты и размечтавшиеся проститутки.

Рядом со мной работало несколько преподавателей, в которых я без особого труда мог опознать себя через десять, двадцать и тридцать лет — и это зрелище было настолько унылым, что я начинал подумывать, не уйти ли мне из жизни куда-нибудь еще.

Подходящим способом казалось уснуть навсегда. Я, собственно говоря, и пытался сделать это каждый вечер, но, поскольку мне страшно было глотать таблетки или резать вены, я каждый раз просыпался опята, и с этим ничего нельзя было поделать.

По вечерам я читал французские экзистенциальные романы шестидесятых годов — целый их шкаф достался мне по наследству от командовавшего атомным ледоколом капитана, затонувшего в моей халупе в годы приватизации. От этого чтения в моей депрессии ненадолго появлялся благородный европейский налет — но достаточно было одной поездки в переполненном трамвае, чтобы мыслящий тростник снова превратился в лысого еврейского лузера.

Мое отчаяние делалось все безысходней — и в высшей его точке, когда я на полном серьезе готов был выпить настоящего яду или даже вернуться в Одессу, судьба без всякого предупреждения пересаживала меня на очень крутой маршрут.

Как-то в августовское воскресенье 2002 года я

шел по Новому Арбату в районе Дома Книги. На улице было необычно мало машин, и воздух был полон той нежнейшей московской тоски по незаметно прошедшему лету, которая одновременно щемит сердце и примиряет с жизнью. Мне было почти хорошо.

Вдруг слева от меня скрипнули тормоза, и рядом остановилась приземистая черная машина с тонированными стеклами — в кино на таких ездят гламурные спецагенты, которым мировое правительство доверило рекламу ноутбуков «vaio». Заднее стекло чуть опустилось, и темнота за ним позвала:

— Семен!

У меня екнуло в груди.

Голос темноты был мне незнаком, но интонации — а я таки знаю вещь или две об интонациях — были такими, словно она давно и хорошо меня знает, как и положено темноте. Отчетливо помню: в первую секунду мне показалось, будто за окном притаился какой-то забытый древний ужас — то, что мы до сих пор боимся встретить во мраке, хотя его там нет уже миллионы лет.

Видимо, испуг отразился на моем лице. Темнота довольно засмеялась, окно опустилось ниже, и я увидел человека, которого тут же узнал.

Это был Влад Шмыга, мой друг из пионерлагеря. Его внимательные глаза совсем не изменились, хоть годы и накачали хмурым жиром складки кожи вокруг них.

— Садись в машину, — сказал он. — Поедем поедим.

Я сел в прохладный темный салон.

Кроме Шмыги, в машине были водитель и человек на переднем сиденье. Шмыга ободряюще улыб-

нулся, и я уже начал подыскивать подходящий к случаю сентиментальный трюизм, когда человек с переднего сиденья обернулся и щелкнул чем-то возле моего плеча, уколов меня в шею.

Машина с ее обитателями сразу поплыла вверх и вправо, превратившись в подобие странной колодезной крышки, внимательно глядящей на меня тремя парами глаз. Я же занялся тем, что стал падать в колодец.

1

За ресторанным столиком обедали трое. Двое были сумрачными полными людьми с невыразительными лицами. Одеты они были скучно — в дешевый спортивно-летний ширпотреб. Третий, сидящий между ними, был, напротив, весьма ярок — бакенбарды делали его похожим на развратную итальянскую обезьяну, а клетчатый пиджак так и вообще превращал в какого-то наглого Пушкина, который вместо стихов посвятил себя мелкооптовой торговле.

Звуча не было, поэтому о разговоре приходилось судить по мимике. Говорил в основном Пушкин, и сначала мне казалось, что я вижу встречу школьных друзей, один из которых пролез в президиум жизни и судьбы, а двое так и остались коллежскими ассенизаторами, и теперь добившийся успеха учит их разуму. Ассенизаторы говорили коротко и односложно, глядя в тарелки, а Пушкин витийствовал вовсю, и одним особо раздольным жестом даже опрокинул на стол бокал с вином.

Но постепенно разговор приобретал странный оборот. Ассенизаторы все чаще поднимали от тарелок тусклые злые глаза, а Пушкин все дольше дер-